



ЮРИЙ ЛОЩИЦ

СЕРЫЙ ДЕНЬ

Изба после дождя
стоит темно и тихо
подобием груздя.

Застенчивый на вид,
но памятный за это,
день серый норовит
пройти малозаметно.

Хотя б случилось что!
Так нет ведь. Серый-серый.
Но меряешь зато
его особой мерой.

Так хорошо дышать,
и так покойно взгляду.
Себя перегонять,
бежать, спешить не надо.

И, благодарен, нем,
вдруг видишь, что Господня
рука сняла совсем
между тобой и всем
преграду на сегодня.

1971

* * *

Там,
где ветер в поле рыщет,
там, где стонет лес, что нищий,
как ты там, моё жилище,
в дождь и слякоть без меня,
без хозяйского огня?

В ночь избе холодной снится
осиянная столица —
окаянная блудница:
окна, лифты, этажи,
семицветные туманы,
сладкой музыки фонтаны,
букв бегущих кутежи.

«Где там, где там мой хозяин,
на какой из ста окраин,
у которого стекла
он стоит и смотрит в полночь
и зовёт себе на помощь
образ красного угла?

Слышит он сквозь гром столицы
голос каждой половицы,
слабый плач дверной петли.

Видит он во сне, сердешный,
Как в ночной печи кромешной
Снова угли зацвели...»

1972

Пока нас бомбой атомной пугали,
война прокралась,
вошла, откуда мы её не ждали,
с толпой смешалась.

Смеётся вместе с нами и вздыхает,
а за обедом
из общей чашки тот же суп хлебает
с казённым хлебом.

Но вот её труды: поля – в бурьяне,
умы – в разброде.
Печалится, что снова россияне
хмельные вроде.

И вот её дела: земля нищает,
взбухают грады.
Похлёбкой чечевичной угощает,
и той мы рады.

А если кто и с жалобой: «Мамаша,
не больно жирно...» –
она химерой атомной помашет,
и
в мире – смирно.

ЗАСТАВА ГУНДИГАН

Памяти лейтенанта

Сергея Ковальчука

Как здравствуешь, застава Гундиган,
под вой и свист горячего металла?
Хочу, чтобы накрыл тебя туман,
чтоб небо над тобою замолчало.

О, дайте Гундигану тишины
и солнечного хоть на час затмения.
Хочу услышать на краю войны
магнитофона крошечного пенье.

О, наконец! Божественный покой
на Гундиган нисходит благодатно.
Там лейтенант, как мумия сухой,
поёт о маме нежно и невнятно.

Поёт о том, что тут почти что рай
и что рука тверда на автомате.
...О мати моя, только не рыдай!
О, не рыдай, возлюбленная мати...

1988

АФГАНСКИЕ ПЕСНИ

В ночном почтовике
мы ввинчивались в выси,
и восемь раз являлась нам луна.
И чтобы разогнать непрошенные мысли,
я песни начал петь у круглого окна.

Об одуванчиках и о лугах приречных,
и о туманах русских деревень.
Беспечный Пакистан вдали сиял,
как млечность.
И под луной в горах металась наша тень.

И «стингер», как оса, уже звенел, казалось,
нацеленный на поршневой металл.
И сжалась наша жизнь
в ничтожнейшую малость.
Но в цель поющую никто не попадал.

1988

ЧЁРНАЯ ПЛОЩАДЬ

*«... Проклятая Черная площадь,
Тебя не отбелит никто».*

Из воинской песни

По Чёрной площади мы мчали с ветерком,
глаза от солнца и от пыли сузив.

О бешеном лихачестве таком
водители не ведают в Союзе.

Но в этот бред не сунется ГАИ.

Скорей! Скорей... Расчёт шофёра точен:

плевать на столкновение в пыли,
но страшен взрыв, молчащий у обочин.

Опасен «дух», что из арыка вдруг
выпрыгивает, тварь, с гранатомётом.

А газ нажмёшь – и танк летит как пух.

Гранаты мажут, лупят по пустотам.

Взорвётся мина где-то за спиной.

Граната же, глядишь, торчит в дувале.

Скорей!..

Скорей...

Сквозь прах, и смерть, и зной...

Ну, слава Богу! Кажется, промчали.

И вновь над рытвинами пляшет руль,
и как во сне летит на нас дорога.

Зато стволы, горячие от пуль,
на ветерке остынут хоть немного.

И так – всегда...

Нет, стыдно, братцы, стой!
И мы посередине Чёрной стали
и, как шпана на вечер выпускной,
пунцовых кандагарских роз нарвали!

1988

ЧАРИКАР ДНЁМ И НОЧЬЮ

Сергею Лыкошину

Что везёте, цветастые грузовики?
Мумиё или марихуану?
Автоматы в шелках? Или в тесте клинки?
То известно мышам и душману.

Над асфальтом синее бензиновое прах.
Не понять Чарикарской долины.
Полусонно мелькают мотыги в садах
да худые сгибаются спины.

Да на крыше белеет, разнежась, чалма,
как в персидской картинке старинной.
Да, игрушечные собирая дома,
дети голые возятся с глиной.

Чарикар, ты прикинулся раем земным,
а не целью, плывущей в бинокле.
Мы в чугунных пещерах недвижно сидим.
Наши роботы, хоть выжми, промокли.

Там, где глина, там, слышишь, звучит и ручей.
Внятен лепет, и пенье блаженно.
Я б с тобой перекинулся словом, Сергей,
но засохли слова, будто сено.

Миражами вспухает асфальтовый путь.
Нас до вечера сменят едва ли.
А до этих, что в глине, рукой дотянуть.
Только руки чугунными стали.

* * *

К ночи салом подёрнутся лужи,
затвердеет кружавчатый наст,
и хрустящей старательно стуже
бор дыханье смольное отдаст.

Но удержат ли тяжкие ваги
шорох браги под крышкой ведра?
Нет, ручья пьяный гомон в овраге
не убудет почти до утра.

И опять повторится всё это
в беге солнечного колеса.
Я услышу от деда-поэта:
«Завтра санная рухнет шасси?».

Верно! Высохли ржавые шпалы,
провалились в опольях пути.
В благовещенские снеготалы
почтальону до нас не пройти.

Речки малые вспухли бедово.
Не расслышать всемирных вестей.
Пол-России отрезано снова
от законной столицы своей.

Не расслы... не расслы... не расслышать,
потому что гремит ледоход,
потому что, ища нерестилищ,
встречь воде рыба прорва грядёт.

И найдутся ль всемирнее вести,
чем мать-мачехи первая весть?
В земляном разбухающем тесте
есть мохнатые звёздочки, есть!

Есть грачи у нас, чайки и вербы,
и звенящая озимь у нас.
И приносят нам вешние ветры
голос воли, ликующий глас.

Только в этом — людская свобода,
что какой уже век или год
нас опять покоряет природа
и за ручку, как деток, ведёт.

1988

НАГОРНАЯ

Мы от берега всходим на холм,
где ветер шевелит ковыльный шёлк.
Мы по кругу расселись и, как дети, ждём
Того, Кто слово сказать пришёл.
А внизу прислушалось море спиной,
прозрачное, до камней и рыб, —
море нищих,
кротких,
плачущих,
жаждущих правды,
море милостивых,
латающих, будто сети, мир,
море изгнанных, клятых судом,
море обременённых трудом,
до трещин на коже омытых потом и горем.
Веселья и радости нашей небесной
блаженное море.